



ЭМИЛЬ-МИШЕЛЬ  
**СИОРАН**

**ГОРЬКИЕ СИЛЛОГИЗМЫ**

# Эмиль-Мишель Сиоран

## Горькие силлогизмы

### Серия «Сила мысли»

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=67918659](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67918659)*

*Горькие силлогизмы. / Сиоран Э.-М.: Алгоритм; Москва; 2008*

*ISBN 978-5-00180-569-4*

### **Аннотация**

В известной степени от мрачных мыслей спасает благополучное состояние дел в обществе и вера в прогресс. Напротив, крах парламентаризма и слабость либерально-демократического режима укрепляют у граждан, особенно у интеллигенции, комплекс национальной неполноценности.

В этих условиях архетип романтического мышления довольно четко накладывается на мировоззрение: неверие в социальный, промышленный, политический и научный прогресс обуславливает разочарование в современном обществе и ведет к разочарованию в человеке. Отсюда настроение безнадежности, отчаяния, «космический пессимизм», «мировая скорбь».

Пессимистическая философия Э.-М. Сиорана в основных своих параметрах продолжает традицию Ницше. Пожалуй, он единственный после Ницше философ, который виртуозно владеет искусством афоризма. Как и Ницше, он «философствует поэтически». Но одновременно и полемически: у него, как и у

Ницше, все фразы полемичны и вся его мысль диалектически противоречива.

Творчество Сиорана насквозь антимонологично и антидогматично. К нему, как к ни одному другому философу, применимо высказывание Поля Валери: «Самые значительные мысли – это те, которые противоречат нашим чувствам».

# Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Предисловие                       | 6  |
| Часть 1                           | 32 |
| Атрофия слова                     | 32 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 42 |

# Эмиль-Мишель Сиоран

## Горькие силлогизмы



издательство

алгоритм

© А.Г. Головина, В.В. Никитин, перевод с франц., 2008

© ООО «Алгоритм-Книга», 2008

# Предисловие

Французские критики порой наделяли Чорана самыми громкими эпитетами, вплоть до «величайшего французского прозаика наших дней». Столь высокая оценка его творчества не может не удивлять, особенно если учесть, что Сиоран был румыном, иностранцем, освоившим французский язык уже взрослым. Однако факт остается фактом: приехав во Францию, Сиоран стал самозабвенным служителем французского языка и превратился в одного из лучших французских стилистов. Талант Чорана, его острый ум, оригинальность его мышления сделали его популярным писателем Франции, получившим особое признание в интеллектуальных кругах. На него ссылаются, его много цитируют, потому что его творчество – значительное явление, как современной французской словесности, так и современной французской философии.

Интересно, что в середине 1960-х гг., когда Чоран еще не достиг зенита своей славы и опубликовал лишь половину из написанных им во Франции книг, известная американская писательница и культуролог Сьюзен Зонтаг заявила, что в той ветви субъективной философии – антисистемной, лирической, афористичной, – которая славна именами Кьеркегора, Ницше, Витгенштейна, в наши дни «крупнейшим» является именно Чоран. А это более чем веское обстоятельство,

делающее необходимым появление его книг на русском языке.

Эмиль-Мишель Чоран (Сиоран) родился 8 апреля 1911 г. в деревне Рэшинари близ Сибиу в семье православного священника. Образование он получил сначала в средней школе, а затем на философском факультете Бухарестского университета. Во время учебы проявлял наибольший интерес к наследию Кьеркегора, Зиммеля, Бергсона, Ницше. Как правило, Чорану импонировали философы, являвшиеся одновременно и хорошими писателями. Зиммель, по его словам, писал просто замечательно, причем отличался необыкновенно ясным, прозрачным языком, «что с немцами случается крайне редко». По этой же причине он высоко ценил Бергсона, который тоже был «настоящим писателем». Единственный его упрек в адрес Бергсона был связан с тем, что автор «Материи и памяти» мало внимания уделял трагичности существования.

\* \* \*

Что касается самого Чорана, то в его сознании ощущение трагичности жизни было центральным с самых ранних лет. На формирование его пессимистического мировосприятия повлияло множество факторов. Прежде всего – раннее знакомство со смертью. У родителей Чорана был сад, расположенный рядом с кладбищем; вспоминая об этом, философ

отмечал, что детские годы, проведенные в таком соседстве, должно быть, незаметно оказали на него сильное влияние. «Когда я был молодым, я думал о смерти не переставая. Это было какое-то наваждение: я думал о ней даже за едой. Буквально вся моя жизнь протекала под знаком смерти. Со временем эта мысль ослабла, но так и не покинула меня. Она перестала быть мыслью, но осталась моим наваждением. Именно из-за этой мысли о смерти, с одной стороны освобождавшей меня, а с другой – парализовавшей, я не стал приобретать никакой профессии. Когда все время думаешь о смерти, нельзя иметь профессию. Поэтому-то я и стал жить так, как жил, – на обочине, подобно паразиту».

Может быть, поэтому Чоран считал, что в философии есть только одна заслуживающая внимания проблема – это проблема смерти – и что рассуждать о чем-то другом – значит терять время, обнаруживая свое невероятное легкомыслие. Поэтому и в литературе его единомышленниками и учителями оказывались именно те писатели прошлого, у которых взгляды на эти вещи более или менее совпадали с его собственными. «Лукреций, Босюэ, Бодлер – кто лучше, чем они, понял плоть, понял все, что есть в ней гнилостного, ужасного, скандального, эфемерного?»

Другим моментом, добавившим мрачных красок в мировосприятие философа, стало его собственное физическое нездоровье и связанные с ним страдания, о которых он говорит очень часто. Физическая боль настолько ассоциирует-

ся у Чорана с жизнью, что он готов признать, что не жил в тот день, когда не страдал. И здесь он тоже зовет себе в учителя и сообщники мыслителей и литераторов, о которых известно, что они страдали. «Паскаль, Достоевский, Ницше, Бодлер – все, кого я ощущаю близкими мне людьми, были людьми больными».

В числе мучивших его недугов Чоран выделяет бессонницу и, деля все человечество на две части – на тех, кто подвержен этой напасти, и тех, кто спит спокойным сном, – превращает ее если не в философскую категорию, то, уж точно, в мощный инструмент познания. «Не так уж плохо научиться в молодости от бессонницы, потому что это открывает вам глаза. Это чрезвычайно болезненный опыт, настоящая катастрофа. Зато она позволяет вам понять некоторые вещи, недоступные другим: бессонница выводит вас за пределы всего живого, за пределы человечества». Кроме того, Чоран с ранних лет мучился страшными болями в ногах, то ли ревматического, то ли нервного происхождения. Да еще постоянные, редко отпускавшие его простуды. Да ощущение тоски, всеобъемлющей тоски, сопровождавшей его и в Берлине, и в Дрездене, и потом в Париже.

\* \* \*

Однако страдания страданиями, а истинной причиной пессимистических настроений порой бывает и отчаянная

любовь к жизни. Чоран признавался своему дневнику: «Моя тайна – безумное жизнелюбие». Вспоминается Лермонтов, «русский Байрон», которого, кстати, Чоран ставил гораздо выше Байрона английского: «Страшно подумать, что наступит день, когда я не смогу сказать: я! При этой мысли весь мир есть не что иное, как ком грязи».

Как велико порой бывает искушение охать то, что отказывается тебе подчиниться, что манит тебя своим многоцветием и своими ароматами, но дается лишь во временное пользование, на срок только одной человеческой жизни! Вот главная причина ненависти романтиков к мирозданию, главная причина их пессимизма. Творчество Чорана прекрасно вписалось в романтическую традицию пессимизма в европейской философии и литературе. Эта традиция была связана с неверием романтиков в социальный, промышленный, политический и научный прогресс, обуславливала разочарование в современном им обществе и вела к разочарованию в человеке. Отсюда настроение безнадежности, отчаяния, «космический пессимизм», «мировая скорбь».

Архетип романтического мышления довольно четко накладывается на мировоззрение Чорана. Оно и немудрено. Вот что он сказал в одном из своих интервью: «В молодости я очень сильно ощущал свою близость к романтизму, особенно немецкому. Даже и сейчас я не могу сказать, что я окончательно отошел от него. Базовое чувство у меня – Weltschmerz, романтическая скорбь, от которой я так и не

излечился. В значительной части и моя любовь к русской литературе объясняется во многом именно ею. Это литература, которая оказала на меня самое сильное воздействие. Особенно то, что в историях литературы называется русским байронизмом. Потому что распространяемый их влиянием Байрон оказался более интересным в России, чем в Англии. И вот ближе всего мне эти байронические русские герои, из-за чего я, собственно, и не чувствую себя западным европейцем: здесь ведь многое зависит от географии, от корней. Что-то есть в этом. А из всех персонажей Достоевского, как мне представляется, я больше всего восхищаюсь Ставрогиным и лучше всего его понимаю.

Это же ведь типичный романтический персонаж, которого снедает тоска».

\* \* \*

В философском смысле пессимизм связан с уверенностью, что в мире зло преобладает над добром. Такой позиции придерживался, в частности, Шопенгауэр, и Чоран с готовностью развивал такую точку зрения. Эта его убежденность постоянно подпитывалась обыкновенным бытовым пессимизмом, из-за которого будущее видится человеку более мрачным, нежели настоящее. Индивид склонен укрепляться в этом мнении, поскольку впереди его ждут старость и смерть.

Для многих противоядием от пессимизма может служить религия. Но ее Чоран утратил достаточно рано. В известной степени от мрачных мыслей спасает благополучное состояние дел в обществе и вера в прогресс. Но в Румынии – периферийной отсталой, аграрной европейской стране – дела испокон веков шли плохо. А крах парламентаризма в 20-е гг. и обнаружившаяся слабость либерально-демократического режима укрепили у ее граждан, особенно у интеллигенции, комплекс национальной неполноценности. Чувство стыда за родную страну и ощущение собственной беспомощности сделали тогда многих юных пылких румын чувствительными к националистической риторике, заставили их мечтать о построении справедливого нового общества, о железной дисциплине, о национальном возрождении, наподобие немецкого.

Закружилась слегка голова в те годы и у Чорана, ставшего на какое-то время адептом националистического движения, известного под названием «Железная гвардия». С ним он связывал надежду на преодоление коллективной румынской апатии и безответственности, надежду на национальную революцию, способную превратить страну «из фикции в нечто реальное». Тогда Чоран, оказавшись по гумбольдтовской стипендии в 1933–1935 гг. в Германии, не преминул одобрительно отозваться о политике Гитлера, выведившего как раз в тот момент Германию из разрухи. Пытаясь теоретически обосновать необходимость для Румынии диктатуры,

он писал: «Вполне очевидно, что с субъективной точки зрения каждый из нас предпочел бы жить во Франции, а не в Германии... Но когда речь идет о нашей судьбе и о нашей миссии, нужно уметь отказываться от своей свободы, которая, будучи благостной сегодня, может оказаться губительной для нас завтра».

Все эти факты, разумеется, не делают чести студенту-философу. Однако в ту пору все преступления нацизма еще только ждали своего часа, и о чудовищных издержках национализма можно было только догадываться. Поэтому пусть бросает камни в юного, темпераментного и патриотически настроенного румына 30-х гг. тот, кто ни разу не ошибался в своем политическом выборе и в своих кумирах.

Интересно, что по возвращении из Германии Чоран попал в армию, и если раньше ему очень нравилась формула «молодежь в униформе», то сам он почувствовал себя в униформе очень неуютно и предпочел от последней как можно скорее избавиться.

\* \* \*

Развитие событий как в самой Румынии, так и в мире очень скоро позволило начинающему философу понять, что чудес на свете не бывает и что никакая национальная идея, никакая национальная революция не в состоянии радикально изменить национальный характер, что его мечта о могу-

чей «Румынии с населением, равным по численности населению Китая, и с судьбой, подобной судьбе Франции», так навсегда и останется мечтой.

Окончательное разочарование в румынах, да и вообще в людях еще больше усилило пессимизм философа, о котором он и поведал читателям на страницах своих сочинений с весьма красноречивыми названиями: «На вершинах отчаяния» (1934), «Книга иллюзий» (1936), «Слезы и святые» (1937), «Сумерки мыслей» (1938). Все эти произведения были написаны на румынском языке. Позднее, уже в Париже, Чоран написал на румынском еще одну книгу— «Молитвенник побежденных» (1944).

А попал он во Францию в 1937 г., получив стипендию для завершения философского образования. Выбрал даже тему диссертации. Собирался писать что-то о Ницше. Однако, когда оказался на берегах Сены, планы его претерпели существенные изменения. Чоран не пожелал продолжать университетские штудии, а вместо этого купил велосипед, сел на него и за год исколесил всю Францию. Подобное нарушение академической дисциплины, впрочем, не имело никаких отрицательных последствий. Даже напротив – молодой человек излечился от бессонницы. С довольствия будущего философа не сняли, и он худо-бедно продолжил свое существование в стране, которая в отличие от неразумных стран-доноров, вроде Румынии или России, с буржуазной рачительностью прибирает к рукам таланты со всего мира.

Франции впоследствии не пришлось жалеть о проявленном ею гостеприимстве и некотором попустительстве. Хотя для того чтобы безвестный балканский эмигрант стал гордостью французской литературы и философии, тому понадобилось некоторое время, необходимое для обретения совершенного знания французского языка.

Осенью 1940 г. Чорану пришлось ненадолго вернуться в Румынию. Но уже в апреле 1941 г. он вновь оказался во Франции. Приехал туда в качестве культурного советника румынского посольства. Но продержался на этом посту меньше трех месяцев и был уволен с формулировкой «за бесполезностью». То ли вспыльчивый характер подвел, то ли начала действовать установка на то, чтобы жить «на обочине».

Чоран с тех пор ведет достаточно маргинальное существование, получая еще некоторое время стипендию иностранного студента, а затем перебиваясь случайными заработками, оставаясь, причем в какой-то мере добровольно, своеобразным социальным изгоем. И это обстоятельство, усиливавшее неврастеническую реакцию на окружающий мир, тоже, надо полагать, не добавляло веселых тонов в его философию.

\* \* \*

После «Молитвенника побежденных» Чоран решил пи-

сать по-французски. Для выходца с Балкан, как он сам признавался, перейти на французский стало чудовищным испытанием. Однако это была одновременно и «эмансипация», освобождение от тяготившего его прошлого. Благодаря французскому он начал жизнь с чистого листа. Поменял ипостась. Из Сиорана стал Чораном. Причем не только предоставил окружающему миру произносить свою фамилию на французский лад, но и, убрав с обложек свое имя перед ней, опять же в соответствии с определенной французской традицией превратил ее в своего рода псевдоним, в один из тех псевдонимов, что при благоприятном стечении обстоятельств прибавляют его обладателю литературной знатности: Вольтер, Стендаль, Ален, Арагон, Бернанос... Чоран.

В 1949 г. Чоран выпустил первую свою книгу, написанную по-французски, – эссе «О разложении основ». Книга эта не свободна от риторики, свойственной предыдущим произведениям Чорана, написанным по-румынски. Она создана в форме свободных фрагментарных рассуждений на тему бессмысленности мироздания и бытия. Автор старается доказать, что история бытия совпадает с историей зла, содержащегося в человеке, этом «парадоксальном животном», которого его тяга к знаниям и жажда власти ведут по пути саморазрушения. В этой перспективе сознание выглядит как фактор разрушения души, поскольку оно оказывается опорой «рабской добродетели», каковой является надежда.

Чоран противопоставляет надежде абсолютную трезвость. Никаких упований. И никакой веры. «Представьте себе Паскаля, только что узнавшего, что он проиграл свое пари, и вы получите Чорана», – так определил его образ мысли видный французский публицист Жан-Франсуа Ревель. Жизнь, согласно Чорану, полна жестокости и фанатизма. Поэтому любая форма правления имеет тенденцию превращаться в тиранию. Любое человеческое общество, ставшее более или менее цивилизованным, со временем уничтожается теми, кто остался верен примитивной грубости. Никакого морального прогресса не существует.

Наука помочь не способна. Философия лишь усугубляет фанатизм. А если у философов и есть какие-то заслуги, то сводятся они к тому, что «они время от времени краснели от того, что они люди». Чем-то подобным, по его признанию, занимается и сам Чоран. «Моя миссия состоит в том, чтобы пробуждать людей от их векового сна, пробуждать, однако, с сознанием, что я совершаю преступление и что гораздо лучше было бы оставить их такими, какие они есть, поскольку, когда они пробуждаются, мне нечего им предложить». Реальным, таким образом, оказывается лишь страдание.

Пессимистическая философия Чорана в основных своих параметрах продолжает традицию Ницше. Пожалуй, он единственный после Ницше философ, который виртуозно владеет искусством афоризма. Как и Ницше, он «философствует поэтически». Но одновременно и полемически:

у него, как и у Ницше, все фразы полемичны и вся его мысль диалектически противоречива. Творчество Чорана насквозь антимоналогично и антидогматично. К нему, как к ни одному другому философу, применимо высказывание Поля Валери: «Самые значительные мысли – это те, которые противоречат нашим чувствам». Родство Чорана и Валери, еще одного его учителя, обнаруживается в крайней чувствительности к разрыву между инстинктом и умом, между бытием и осознанием бытия, из-за которого «человеком становишься в высшей степени именно в тот момент, когда жалеешь, что родился человеком».

\* \* \*

В опубликованной в 1952 г. книге афоризмов «Горькие силлогизмы» Чоран продолжал развивать в несколько иной форме те же мысли, что и в первом своем французском произведении. А вот в «Искушении существованием» (1956), наиболее ницшеанской своей книге, он попытался преодолеть свой собственный нигилизм. Чтобы существовать, нужно во что-то верить, а для этого необходимо отказаться от трезвомыслия. У того, кто открыл для себя некоторые неприятные мысли, единственная возможность выжить – отречься от них и, отрекаясь, восстать против своего знания.

В итоге «Искушение существованием» оказывается протестом против мудрости, патетической апологией лжи, воз-

вращением к некоторым спасительным фикциям. У человека нет иного выхода, кроме как сознательно восстановить разрушенные было иллюзии. Эта миссия возлагается среди прочего и на искусство, отчего нигилизм порой переходит у Чорана в эстетизм. Философ как бы пытается теоретически обосновать ту функцию, которую выполняло у него и для него собственное творчество.

«Каждая из написанных мною вещей является победой над унынием. У моих книг много недостатков, но они не сфабрикованы, они написаны под воздействием свежих импульсов: вместо того чтобы дать кому-нибудь пощечину, я просто пишу что-нибудь очень резкое. Так что мои творения являются не литературой, а фрагментами терапевтических действий – моей мезью. Мои книги – это фразы, написанные для меня или против кого-нибудь, чтобы не действовать. Они представляют собой несостоявшиеся действия. Явление достаточно распространенное, но в моем случае систематическое».

Интересно, что нечто подобное Чоран говорит и о своем скептицизме: «У каждого свой наркотик; мой наркотик – это скептицизм. Я весь пропитан им. Однако этот яд позволяет мне жить, и, если бы не он, мне нужно было бы что-то более сильное и более опасное».

И творчество, и скептическое мировосприятие у Чорана связаны в первую очередь с физиологией, психологией. То же самое можно сказать и о философии. Он признает толь-

ко философию, занятую облегчением страданий, а вовсе не поисками истины. Кстати, он отказывался числиться в философах, предпочитая называть себя мыслителем. Разумеется, таковым он и был в первую очередь: мыслителем-моралистом.

\* \* \*

Если бы можно было представить развитие мысли Чорана в виде простой линии, идущей из одной точки в другую, то, наверное, на ней можно было бы выделить два этапа: от нигилизма к скептицизму и от скептицизма к буддизму. Буддизм он, разумеется, воспринимал не как религиозную систему, а только как инструмент, с помощью которого можно в известной степени сохранять душевное равновесие. Он высказывал предположение, что, доведись ему родиться буддистом, а не христианином, он, может быть, и сохранил бы веру, поскольку религия, преодолевшая идею Бога, его вполне бы устроила.

Однако, хотя буддизм, как, впрочем, и вообще вся индийская философия, и оказывал на него анестезирующее действие, хотя порой Чорану и казалось, что он буддист, по зрелом размышлении он приходил к выводу, что все обстоит совсем не так просто, ибо «невозможно достигнуть невозмутимости человеку неистовому». Так что представить развитие мысли Чорана в виде линии не представляется возмож-

ным. Все в его жизни и творчестве шло скорее по кругу. И новые болезненные импульсы его снова заставляли садиться за письменный стол, подсказывали ему все те же темы. Творчество Чорана похоже на «Болеро» Равеля. Одна и та же тема, повторяемая до бесконечности на различных инструментах. Одни и те же темы в разных книгах. Темы, присутствовавшие уже в «Разложении основ».

В 1960 г. появилась на свет еще одна книга Чорана – «История и утопия», в 1964 г. – «Падение во время», в 1969 г. – «Незадачливый демиург», в 1973 г. – «О злополучии появления на свет», в 1979 г. – «Мучительный выбор», в 1987 г. – «Признания и анафемы». Названия говорят сами за себя. Особенно характерно последнее из них. Клерикальный термин косвенно подтверждает сделанное однажды Чораном признание: «Я тащу за собой лохмотья теологии... Нигилизм поповича». Есть некоторый догматизм в критике Чораном всего и вся, критике с позиции какого-то изначально, усвоенного еще в детстве, а затем отвергнутого знания о мироздании, о человеке, о Боге, с позиции утраченного идеала. Чоран всю жизнь только тем и занимался, что сокрушал былых кумиров. Кстати, и в философии тоже.

\* \* \*

На протяжении творческой биографии Чорана его отношение к философии и философам менялось. Надо сказать,

что он был не слишком благодарным учеником, и зачастую от былого почтения к прежним кумирам у него не оставалось и следа. Изрядно поучившись одно время у Кьеркегора, по прошествии лет он стал относиться к нему весьма критически. «Возникает такое ощущение, – пишет Чоран, – что он просто не может остановиться, что его несет словесный поток, порой становящийся для читателя невыносимым».

Таким же немилосердным оказывается он и по отношению к своему бывшему наставнику, особенно в области французского языка, Полю Валери: «Валери упрекает Ницше в том, что он был слишком литератором! Это Валери-то, который, несмотря на все свои презрительные гримасы, был всего лишь литератором!» Чоран упрекает Валери в манерности, в бесплодном умствовании, в блестяще-бессодержательных разглагольствованиях.

А вот еще одна запись в его дневнике: «Перечел несколько страниц из Шопенгауэра. Что еще может нормально восприниматься, так это моралист и человек настроения. А вот собственно философская сторона явно устарела: все эти отсылки к воле по любому поводу напоминают какую-то блажь или навязчивую идею маньяка».

Столь же критичен он и по отношению к другому своему учителю: «Ницше меня утомляет. Порой эта усталость переходит просто в отвращение. Невозможно принять мыслителя, чей идеал является прямой противоположностью того, кем он был сам. Есть что-то непристойное в слабом челове-

ке, прославляющем силу».

При этом Ницше еще остается в его глазах гигантом по сравнению с его последователями в XX в.: «Все эти профессора во главе с Хайдеггером живут, паразитируя на Ницше, и воображают, что быть философом – значит рассуждать о философии. Они напоминают мне тех поэтов, которые воображают, что смысл стихотворения сводится к воспеванию поэзии».

Неприязнь к Хайдеггеру возникла у Чорана еще в 30-е гг. До поры до времени он относился с величайшим почтением к философской терминологии: «Как можно было не поддаться мистификации, как можно было не поверить в глубину иллюзии, порождаемой этой терминологией?» Прозрение наступило в тот момент, когда он попытался проникнуть в смысл «Бытия и времени», главного труда философа. Его поразило манипуляторское искусство Хайдеггера, его лингвистический гений, его словесная изобретательность, благодаря которой самые банальные мысли, переведенные на философский жаргон, обретали значимость, глубину, серьезность.

Впоследствии он убедился в справедливости своих догадок: «Только что прочел «Отрешенность» Хайдеггера. Когда он переходит на нормальный язык, сразу становится ясно, как мало ему есть что сказать. Я всегда считал, что жаргон – это невероятный обман».

Еще более безжалостен Чоран к французским ученикам

немецкого философа. В Хайдеггере он хотя бы видит гения словесной эквилибристики, тогда как у Сартра подчеркивает эпигонство и обвиняет его в том, что тот перенес на французскую почву немецкую тяжеловесность и немецкое терминологическое словоблудие.

Достается от него и французским почитателям Хайдеггера рангом ниже, например Мишелю Фуко, причем лишь за то, что тот поставил Хайдеггера в один ряд с такими замечательными писателями, как Гёльдерлин и Ницше.

Похоже, Чорана вообще раздражали любые модные течения. Так, его возмущает «квазинаучная порнография» Фрейда, «на целый век овладевшая некрепкими умами молодых людей, разного рода бездельников, псевдоврачей и чокнутых – всех, кто хочет заполучить ключ от того, от чего нет ключа».

Неблагодарно отнесся он и к структурализму: «Попытался было почитать «Империю знаков» Барта. Ну и стиль. О самых простых вещах говорится таким туманным слогом, с такой головокружительной претенциозностью и манерностью, что кажется, еще немного – и тебя стошнит. Сам по себе автор и умен, и тонок, и отнюдь не пуст, но вызывает при этом несказанное отвращение»...

Однако все эти высказывания о прежних и современных ему собратьях по мысли интересны даже не столько сами по себе, сколько в той мере, в какой они высвечивают личность их автора, его характер, достаточно, надо сказать, ер-

шистый. Кстати, Чоран признавал это. «Я являюсь, – писал он, – результатом сложения противоречащих друг другу наследственностей и узнаю в себе как характер отца, так и характер матери, особенно матери, тщеславной, капризной, меланхоличной».

Писал также, что любая дискуссия приводит его в угнетенное состояние, что истина для него рождается отнюдь не в споре, ибо он любит говорить обо всем в утвердительной манере, не любит ни сам выстраивать доводы в стройную систему, ни выслушивать доводы других. «Я создан для того, чтобы произносить резкие монологи».

Как-то раз, вычитывая гранки одного из своих произведений, он отметил для себя, что мысли там выражены неотчетливо. «Ясность мысли, увы, не мой случай. Я всегда был немного путаником, как, впрочем, и все мои соотечественники».

В общем, философ отличался еще и некоторой склонностью к самобичеванию. Поэтому, равно как и по ряду других причин, портрет его получается какой-то неблагостный. Не икона, в общем. И даже не портрет, а какие-то штрихи к портрету. Можно, однако, надеяться, что эти штрихи помогут воспринять представленные здесь произведения в более реальной, конкретно-исторической и, если можно так выразиться, человеческой перспективе.

Вероятно, здесь стоит сказать о том, как Чоран жил в Париже, в промежутке между концом 40-х гг. и 20 июня 1995 г., когда перестало биться его сердце. Жил он в общем так же, как и раньше, – «на обочине». Вел жизнь перебивающегося от гонорара к гонорару свободного художника, человека малообеспеченного. Лишь на недолгое время он получил должность руководителя серии в издательстве «Плон», но вскоре ее потерял.

Очень много времени проводил в библиотеках и у букинистов. Сетуя, признавался, что делает это не от избытка трудолюбия, а как раз от большой лени – чтобы отодвигать момент, когда нужно садиться за письменный стол.

Принимал приглашения на обеды и коктейли, наносил визиты и, удрученный пустопорожними беседами и ощущением напрасно потерянного времени, неоднократно давал обет одиночества, планировал создать вокруг себя такой вакуум, чтобы Париж как бы перестал быть Парижем.

Чоран обитал очень долго в дешевых гостиницах, в основном в мансардах, и лишь в 60-е гг. снял скромную квартирку на улице Одеон. Причем никогда не имел никакого имущества.

Выезжал иногда в провинцию отдыхать. Посещал театры, но главное – концерты классической музыки. Музыка бы-

ла его страстью, его главной отдушиной. Моцарт, Палестрина, Кавальери, Гендель и, разумеется, Бах. Баха он ставил превыше всего. Если существует на свете какой-то абсолют, утверждал он, то это Бах, своим присутствием в мире доказавший, что сотворение вселенной не стало полной неудачей. «Без Баха я был бы законченным нигилистом».

Есть в духовном облике Чорана и некоторые черты, которые, надо полагать, добавляют ему симпатии русских читателей. Я имею в виду прежде всего его любовь к России и достаточно хорошую осведомленность о различных аспектах нашей культуры, что здесь косвенно уже упоминалось, когда речь шла о романтизме.

Обширность его познаний в области русской литературы просто поражает. Его дневники пестрят упоминаниями о Лермонтове, Гоголе, Тургеневе, Достоевском, Толстом, Гончарове, Тютчеве, Чехове, Бунине, Мережковском, Блоке, Есенине, Ахматовой, Пастернаке, Цветаевой.

Достоевский же является для него настоящим божеством. Любовь к нему либо нелюбовь – критерий интеллектуальной состоятельности человека. Например, одного того факта, что Тейяр де Шарден не был в состоянии оценить по достоинству автора «Бесов», Чорану достаточно, чтобы дать тому суровую оценку: «Что за идиот этот иезуит!»

Он хорошо знал русскую философию: Чаадаева, Соловьева, Шестова, Бердяева, Розанова. Особенно Розанова, внутреннюю близость к которому он отчетливо ощущал. «Роза-

нов – мой брат. Это, несомненно, мыслитель, нет, человек, с которым у меня больше всего общих черт». Или вот о Соловьеве: «Меня поражает Соловьев. Меня будоражит все, что я читаю о нем».

Что касается русской религиозной философии, то она оказалась для него самого неприемлемой, но всегда действовала на него «завораживающе», помогала многое понять, когда он размышлял о роли религии в судьбах России, о благотворной роли, как он неоднократно подчеркивал.

Неизгладимое впечатление производила на Чорана русская духовная музыка. «Какая глубина, какое величие!» И слушание русских народных песен, особенно в исполнении Шаляпина, тоже всякий раз заставляло его с новой силой ощутить свою давнюю симпатию к России. Она была дорога Чорану еще и некоторым сходством с Румынией. Он склонен обнаруживать схожесть между двумя странами и на уровне климатических условий, и на уровне национального характера, и на уровне духа. Отмечая однажды, что снег для него является весьма важным в жизни событием, поскольку в момент снегопада у него перед глазами встают картины детства, он, в частности, писал: «В Париже даже на самый незначительный снегопад смотрят как на катастрофу. А у меня на родине слой снега иногда достигал двух метров, и никто не жаловался. Есть две разновидности наций: *избалованные* и *смирившиеся*. Вот я, например, принадлежу к нации, у которой поражение эндемично».

И вот другая цитата из того же дневника: «Идет снег. Весь город покрыт белой пеленой, весь утонул в белой массе. О, как же я хорошо понимаю российское безволие, как хорошо понимаю Обломова, каторгу и русскую церковь. То, что Кюстин говорит о русских, которые не просто *сталкиваются* с несчастьем, но обрели к нему *привычку*, так хорошо подходит к моей родной стране». Поэтому румынам, оставшимся на родине, «итальянизированным славянам», он всегда давал совет держаться России, а не Запада. «Вместо того чтобы ехать на Запад, моим соотечественникам следовало бы направить свои стопы в Россию, где они с гораздо большей вероятностью нашли бы себе собеседников, озабоченных теми же проблемами, что и они сами. Как они не видят, что именно там находится их духовный центр, что именно там нужно искать то, что они надеются найти, и что именно там вопросы духовного порядка наиболее актуальны и остры? А они приезжают сюда, где находят то, от чего бегут, и где никто не может им ничего ответить, не может оказать никакой действенной помощи, не может дать надежды. Какое недоумение!»

\* \* \*

Однако, несмотря на подобные высказывания, несмотря на эмиграцию и отказ от родного языка, несмотря на постоянные язвительные замечания в адрес своих соотечествен-

ников, Чоран на протяжении всей жизни сохранял любовь к родине, которую постоянно критиковал, чтобы смягчить боль от переживаний за нее. С этим же, скорее всего, была связана и постепенная трансформация бывшего националиста в космополита. Он стал утверждать, что философ обогащается за счет всего, что от него ускользает, относя к числу таких потерь и Румынию.

Нужно любой ценой, полагал он, оторваться от своих корней, дабы верность своему племени не выродилась в идолопоклонство. «Национализм, – по зрелому размышлению заключал он, – это грех против духа, к сожалению, грех всеобщий. Стойки были не так уж глупы, и нет ничего лучше, чем идея человека как гражданина космоса. Как ни смешна идея прогресса, но христианство было огромным шагом вперед по сравнению с иудаизмом, шагом от племени к человечеству».

Чувствуется, что воспоминания о былых заблуждениях, о грехах молодости преследовали философа. Не случайно он признается, что чужой язык является для него эмансипацией, освобождением от прошлого. А ему очень хотелось от него освободиться. «Мои устремления, мои былые безумства – я различаю время от времени их продолжение в настоящем. Я еще не совсем излечился от моего прошлого».

Ничто, как говорится, не проходит бесследно. Поэтому, знакомясь с переливающейся всеми цветами парадоксального остроумия философией «метафизического апатрида», как называл себя автор «Искушения существованием», не будем

забывать – то, что кажется порой апофеозом беспочвенности, связано многими зримыми и незримыми нитями с прошлым, со всем жизненным опытом Чорана.

*Валерий Никитин*

# Часть I

## Горькие силлогизмы<sup>1</sup>

### Атрофия слова

Воспитанные на робких поползновениях, боготворящие фрагмент и знак, мы принадлежим клинической эпохе, когда в расчет принимаются лишь *случаи*. Нам интересно лишь то, что писатель умолчал, лишь то, что он мог бы сказать, нас привлекают лишь его безмолвные глубины. Если после него остается *творчество*, если он был внятен, наше забвение ему обеспечено.

Вот она, магия несостоявшегося художника, магия неудачника, растранившего свои разочарования и не сумевшего заставить их плодоносить.

\* \* \*

Столько страниц, столько книг, являвшихся источниками наших волнений, которые мы теперь перечитываем, чтобы изучать в них свойства наречий или особенности прилагательных.

---

<sup>1</sup> Текст печатается с незначительными сокращениями.

тельных!

\* \* \*

В глупости есть некая серьезность, которая, если ее по-лучше сориентировать, могла бы приумножить количество шедевров.

\* \* \*

Без наших сомнений относительно нас самих наш скептицизм был бы бессмысленным, был бы ни к чему не обязывающей условностью, чем-то вроде философского учения.

\* \* \*

Что касается «истин», то мы больше уже не хотим терпеть их груз, не хотим больше быть ни их жертвами, ни их пособниками. Я мечтаю о таком мире, где люди были бы согласны умереть ради одной-единственной запятой.

\* \* \*

Как же я люблю мыслителей второго ряда, которые из деликатности жили в тени чужого гения и, опасаясь обнару-

жить его в себе, добровольно от него отказывались!

\* \* \*

Если бы Мольер стал всматриваться в свои глубины, то Паскаль со своей глубиной показался бы просто журналистом.

\* \* \*

Убежденность убивает стиль: тяга к красноречию – удел тех, кто не может забыться в вере. За неимением прочной опоры они цепляются за слова – подобия реальности, в то время как другие, сильные своими убеждениями, презирая видимость слов, наслаждаются комфортом импровизации.

\* \* \*

Остерегайтесь тех, кто поворачивается спиной к любви, к честности, к обществу. Они отомстят за то, что от всего этого *отказались*.

История идей – это история обид одиноких людей.

...В наши дни Плутарх написал бы «Параллельные жизнеописания Неудачников».

\* \* \*

Английский романтизм был удачной смесью шафранно-опийной настойки, изгнания и чахотки; немецкий романтизм – алкоголя, провинции и самоубийства.

\* \* \*

Есть такие писатели, которым очень бы впору пришелся какой-нибудь немецкий городишко в эпоху романтизма. Так легко себе представить, скажем, Жерара фон Нерваля<sup>2</sup> жившим где-нибудь в Тюбингене или в Гейдельберге!

\* \* \*

Выносливость немцев не знает границ, причем даже в безумии: Ницше терпел свое безумие одиннадцать лет, Гёльдерлин – сорок.

\* \* \*

Лютер, предвосхищение современного человека, вобрал в

---

<sup>2</sup> *Нерваль* Жерар де (1808–1855) – французский писатель романтической школы. – *Примеч. ред.*

себя все виды неуравновешенности; Паскаль сосуществовал в нем с Гитлером.

\* \* \*

«Приятно лишь истинное». – Отсюда проистекают все изъяны Франции, ее отказ от Расплывчатости и от Полумрака.

Не столько Декарту, сколько Буало<sup>3</sup> следовало бы довлеть над этим народом и подвергать цензуре его гений.

\* \* \*

Ад – достоверен, как протокол.

Чистилище – столь же фальшиво, как вообще любая ссылка на Небеса.

Рай – набор фантазии и пошлостей...

Трилогия Данте представляет собой самую удачную реабилитацию дьявола, когда-либо предпринятую христианином.

---

<sup>3</sup> *Буало-Депрео* Никола (1636–1711) – французский поэт и критик. Между 1660 и 1666 гг. написал «Сатиры», отчасти подражание Горацию и Ювеналу. Главное новшество состояло в том, что Буало стал называть скверных поэтов поименно, не считаясь со светскими условностями своего времени. Самое знаменитое произведение Буало – «Поэтическое искусство», в котором прозвучало настойчивое утверждение роли страсти и силы в эстетическом опыте. – *Примеч. ред.*

\* \* \*

Шекспир – встреча розы и топора...

\* \* \*

Загубить свою жизнь – значит, приобщиться к поэзии, не прибегая к помощи таланта.

\* \* \*

Только поверхностные мыслители обращаются с идеями деликатно.

\* \* \*

Упоминание административных невзгод среди мотивов в пользу самоубийства кажется мне самым глубоким из всего сказанного Гамлетом.

\* \* \*

Поскольку способы выражения износились, искусство стало ориентироваться на нонсенс, на внутренний некомму-

никабельный мир. Трепетание *внятного*, будь то в живописи, в музыке или в поэзии, вполне обоснованно кажется нам устаревшим или вульгарным. *Публика* скоро исчезнет, а за ней исчезнет и само искусство.

Цивилизации, начавшейся со строительства храмов, суждено завершать свое существование в герметизме шизофрении.

\* \* \*

Когда мы находимся за тысячу верст от поэзии, мы в ней участвуем, участвуем, когда нами внезапно овладевает желание завывать, являющееся последней стадией лиризма.

\* \* \*

Быть Раскольниковым – не оправдываясь потребностью в убийстве.

\* \* \*

Афоризмы сочиняют только люди, испытавшие страх *среди* слов, страх погибнуть вместе со *всеми* словами.

\* \* \*

Как жаль, что мы не можем вернуться в те века, когда живым существам не чинили помехи никакие вокабулы, вернуться к лаконизму восклицаний, к блаженству неразумия, к радостному безъязыкому изумлению.

\* \* \*

Быть «глубоким» легко: для этого достаточно окунуться в море собственных изъянов.

\* \* \*

Любое произнесенное слово причиняет мне боль. А ведь как было бы приятно послушать рассуждения цветов о смерти!

\* \* \*

Модели стиля: ругательство, телеграмма и эпитафия.

\* \* \*

Романтики были последними специалистами в области самоубийства. После них здесь все делается кое-как... И чтобы повысить качество самоубийств, нам явно необходима какая-нибудь новая болезнь века.

\* \* \*

Снять с литературы ее румяна, дабы увидеть ее истинное лицо, было бы столь же рискованно, как лишить философию ее тарабарщины. А вдруг все творения духа сведутся к иначе представленным пустякам. А субстанция – нечто существенное – вдруг обнаружится лишь за пределами членораздельной речи – в гримасе или в каталепсии.

\* \* \*

Книга, которая, разрушив все, сама не разрушится, не должна вызывать у нас гнева.

\* \* \*

Раздробленные монады, мы приблизились к завершению

эры осторожных печалей и предсказуемых аномалий; есть много признаков того, что грядет всевластие безумия.

\* \* \*

«Истоки» писателя – это не что иное, как его темные пятна; тот, кто не обнаруживает их в себе или вообще считает, что ему нечего стыдиться, обречен заниматься плагиатом или критикой.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.